

# Почему его «до» звучит только после полуночи

...Век поэтов мимолетен, не долет, полет, полет...

Когда он спел свою песню памяти Высоцкого...  
Когда спел песню памяти Сахарова...

Когда спел «Отвяжись, я тебя умоляю» на стихи Владимира Набокова, давным-давно отобранные и мною, потрясшие пронзительной откровенностью закрытого человека, о проклятой, не отпускающей Отчизне...

Как он это делает... начинаю глухо, сумрачно, тоже закрыто и оттого едва ли не бесцветно... потом вдруг закручивается такая голосовая воронка, как вакуум, стремительно втягивающий вас, и вот вы уже как бы на острие иглы, вонзающейся в небо. А острие иглы — голос, он плачет, бьется и умоляет о прощении, о том, чтобы врата отвернулись, и когда уже все испадает, и голос стихает, и песня исчерпана, оказывается, что имеется какой-то сухой остаток, содержащий утешительное метафизическое знание о том, что моление, в каком и вы странным образом участвовали, что оно принято.

Впрочем, вначале он закричит, чуть ли не ногами затопает: дескать, ненавижу всю вашу прессу и все равно вы ничего не напечатаете. В середине разговора, вспомнив его крик, я спрошу: а в чем дело, собственно, что такого необыкновенного вы мне сообщаете. Он ответит: а вот именно в том, что обыкновенное вы не печатаете, чем больше мерзостно, тем для вас лучше, а нормальная жизнь вас не интересует. Ах, Саша, слава Богу, что вы это сказали, я заодно с вами, и поскольку вы меня интересуете как одно из проявлений этой самой «нормальной жизни», то продолжим, голубчик.

— Каждый человек, каждый музыкант задает себе вопрос: талантлив он или нет, гений или не гений, велик или не велик, — бесстрашно говорил Александр Градский.

Перед началом двухчасового фильма, который я, как и все советские люди, смотрела по ТВ почему-то глубокой ночью, он, на телеэкране, сказал с усмешкой, что это первый раз, когда ТВ покажет больше, чем две его песни подряд. Теперь я спросила:

— Вас это злило, бесило, или вы поплевывали?

— Сложный вопрос. Бесило. Злило. Я заставлял себя поидевывать. Музыкант — не писатель. В писательском деле трудно определить, хорошо ты пишешь или плохо. В композиторском — так же. У певцов есть некоторые преимущества. Грубо говоря, я взял ноту и я знаю, что до меня ее никто никогда не брал в таком контексте. Если я могу спеть верхние теноровые «до-диез» и «ре» в любом состоянии, а ни один оперный певец Советского Союза это сделать не может... ну есть еще Ломоносов Саша... то я понимаю, чего мне удалось добиться. И вот когда я стал задавать себе вопрос: великий или не великий... Я не знаю, что на самом деле думал о себе Моцарт. Но в книжках пишут, что великому как

бы наплевать на то, что о нем говорят. Поэтому я все время себя воспитывал в этом плане. Что, раз я считаю себя большим художником, мне должно быть наплевать. И тут же мне становится не наплевать. Тогда я думаю: так. Или мне наплевать, или я не большой художник, раз так волнуюсь. И так я дергаюсь, пока не узнаю, что какому-то идиоту опять дали «народного», а у меня ничего, никаких званий. И я говорю: стоп, но какой кайф! Уже любое г... получило «народного», а ты нет. Зато тебя не штрафуют гаишники. Всех штрафуют, а мне говорят: Санек, привет. И отпускают.

— Почему?  
— А я не знаю. Ведь я пою довольно сложные вещи, и постовому милиционеру вряд ли уж так уж все понятно. Но я думаю, они чувствуют: Санек не врет, он наш.

А вот так папа жил, не щадя сил и жил, потому что любил делать он только, что любил.

Он решил не врать лет с 15, когда начал играть «рок-н-ролл». Увидел, что выгоднее не врать. Тогда разговариваешь с позиции силы. Другие юлят, крутятся, а ты спокоен. Сказал себе: мне все равно, опубликуют или не опубликуют, дадут за это деньги или нет, свободное самовыражение, и точка.

Зачем мы это делаем? Высказываем сокровенное? Зачем поем? Зачем пишем? В разговоре с Градским мы сошлись, что тут почти физиологический инстинкт. Однако, придя домой, я продолжала думать и пришла к умозаключению, что на самом-то деле это инстинкт бессмертия. Мы хотим остаться. Нет. Мы должны остаться. Здесь императив. И потребность (необходимость) тем выше, чем больше чистого духа. Эманация духа как безусловное требование природы, природный законорядок. Вернадский говорил о ноосфере. Сейчас говорят об информационном поле. Может быть, его подпитка и именована в сильнейший инстинкт.

Мы должны остаться. Утрачивается все, вплоть до жизни. Но все и остается. Если очень сильно хочешь этого. Если любишь. В поисках утраченного мы обращаемся к фотографиям. Коричнево-молочная сепия, скудные оттенки старого графита таят загадку. Женский портрет: тонкие черты лица, взгляд, когда снимали, отсюда, превратился в отсюда в ту секунду, как женщины не стало.

— Вы ее нежно любите?  
— Ну а что мне остается делать? Как же можно не лю-

бить маму, тем более, если она тебя рано покинула? Мне было 13, ей 35...

С актерской карьерой у нее не вышло, заболела. Москвичи, Сашу они родили на Урале, в Копейске, куда отца распределили на работу на завод. Вернувшись в Москву, жили в 8-метровом подвале: 2 в ширину, 4 в длину, 2,5 вниз. На четверых. Бабушка ходила спать к сестре. Градский до сих пор помнит телефон: Г-5-08-97. Но позвонить по нему нельзя. Градский хотел навестить место детства и отрочества — оно оказалось замуровано.

...трели, триоли, трудные роли, муки и боли будят в душе кавардак...

— Стало быть, вы человек, сам себя сделавший?

— Абсолютно. Селф-мейд мэн.

Он гордится своей библиотечкой, особенно собранием словарей, практически всех, нужных филологу. Он-то не филолог, хотя работает в русле культуры — в поэзии точно так же, как в музыке. Зато у него полтора музыкальных образования: после школы по классу скрипки он закончил Гнесинский институт как оперный вокалист и не завершил Консерватории как композитор. Он читает и перечитывает русскую и мировую поэзию, на которую пишет много музыки. Отдельно — Пушкин, с которым он не считает для себя возможным работать. Любит русскую классическую литературу, особенно линию Гоголя, Мережковского, Набокова, Булгакова. То, что называет русской аналитической фантастикой. Между прочим, говорит, что боится писать новые тексты, пророчествовать — в некоторых случаях напорочил.

Спросила, верующий ли.

— Трудно сказать. Вообще-то я верую в Бога, но церковь не полюбил, что-то для меня фальшивое в ритуальной стороне. При том, что многие служители церкви вызывают у меня громадное уважение. И при том, что Бог начался во мне собственно с церкви, конкретно с архитектуры. С того, что я понимал: это красиво, а что вокруг настроили — некрасиво.

...не ищи в других причину своей беды...

Дальше наш диалог содержал ряд замечательных вещей.

— Вы воюете с людьми?

— Наоборот. Они со мной воюют. Я ни разу не начал воевать ни с одним человеком. По-видимому, за счет многолетней работы я представляю какую-то ценность.

Поэтому во мне есть потребность. А раз это есть, с чем, ради чего мне воевать?

— Вы относитесь к людям с любовью?

— Да, мне кажется, я очень люблю людей. В 90 случаях из 100 меня воспринимают как заносчивого, высокомерного, не любящего людей. А на самом деле это та форма любви... я не знаю, что это такое, но это не лизоблюдство, не поддавки... Я, со всеми своими достоинствами, ставлю себя на совершенно равный уровень с алкоголиком, валяющимся на улице...

— По какому признаку?

— Равенства Божьих творений. У него мозги, у меня мозги, у него руки, у меня руки, у него глаза, у меня глаза. Но ничто не заставит меня повалиться на землю и лежать рядом с ним где-нибудь у Елисеевского. Ничто. Но он равен мне. А я равен ему. В высшем, Божественном смысле. Поэтому я могу сказать ему: старик, я не хочу с тобой общаться. И уйти от него. Я ушел. Но это не означает моего пренебрежения. Я не считаю его ниже себя. Не ниже и не выше. На равных. Но если на равных, я могу выбирать, общаться мне с ним или с другим.

— Вы ощущаете свою силу?

— Да, в тот момент, когда я нахожусь на сцене, я ощущаю себя человеком, способным управлять другими людьми, властвующим над...

— ...толпой?..

— Толпой — нет. Когда я вижу толпу, мне ничего не хочется петь. Совсем. Я вхожу в зал — моя задача увидеть этих людей мыслящими. Мне смешно, когда кто-то ругает публику. Значит, ты не можешь ее заставить ответить тебе. Боже мой, Оля, где я только не пел! В каком-нибудь цеху, где люди от станка, в перерыв обеденный чуть не с полбанки, да им на Градского!.. Поначалу. А потом, если честно работаешь, они открываются. И ты видишь совершенно других людей. Показать голую задницу просто. Но спеть набоковские стихи, или «Зимнюю ночь» Пастернака, или собственные сложные вещи и увидеть увлажнившиеся глаза — понимаешь, что проделана работа.

— Вы цените профессионализм...

— Только. Больше ничего. И порядочность. И ответственность. Такие вот качества. Больше ни-че-го.

— Тяжелые, кризисные минуты у вас бывали?

— Когда хочется застрелиться?

— Когда чувство несостоятельности...

— Несостоятельности — нет. Чувство неудовлетворенности — да. Бессилия — нет. Всею можно научиться.

— Вы вообще ощущаете всеилие человека?

— Да.  
— А к слабым людям как относитесь?

— Нормально. Опять же все идет от того, что я не считаю никого ниже себя. Ну получилось у него так. Я, конечно, думаю, что можно ему и не быть слабым. Наверное, он что-то в жизни сделал не так. Где-то дал себе слабину. Неправильно пошел. И культивируя это в себе, не натренировался... Но вряд ли есть слабые люди вообще. Есть менее сильные. И в чем-то тот слабый, про кого мы с вами думаем, что он слабый, может оказаться сильнее нас. Вдруг выяснится, что он какому-нибудь сталину сказал: пошел вон. Там, где сильный, разъезжающий на «Мерседесе», не скажет ничего.

— У вас много грехов?

— Полно. Я весь состою из грехов. Но серьезных нет. Я не предавал. Я не лгал. Я не убивал. Не выгадывал. Я по жизни... не хотелось бы этого говорить... человек никогда не бывает, слишком порядочным... Я многим помогал, и никогда из корыстных соображений. Ни один человек не может меня в этом упрекнуть. Поэтому из меня не получился бизнесмен от искусства.

— А американская фирма Alexander B. Gradsky?

— Я не эксплуатирую чужой труд. Я продаю себя и свои идеи. В этом разница. Если я, не дай Бог, начну это делать, о!.. Не очень-то я уверен, что у меня получится!

Пока что его пригласили спеть заглавную партию в опере на Бродвее.

Он мастер. И он яростный растратчик своей певческой энергии. Он поет, весело ли, трагично ли, но всякий раз с последней страстью. Я думаю, что такого певца, как Александр Градский, у нас больше нет.

Потом он скажет, что и сам так думает. Но, конечно, он сравнивает себя с кем-то. Хотите знать, с кем? С Паваротти, Доминго, Каррерасом, И Шаляпиним. В том смысле, что слушает, учится. Любит их. Собственно, лишь в этом смысле сравнения и потребности. Сравните себя с вершинами, друзья, а не с соседями по корыту. Чем выше планка, тем серьезнее работа.

Голос мой из меня в Вас.  
Ваша радость из Вас в меня. И снова голос в который раз, Вашей радостью звеня, замыкает круг Бытия. Востанет рог трубит у порога, и вот уже нет ни Вас, ни меня, а есть только Бог, поющий для Бога.

Ольга КУЧКИНА, обозреватель «Комсомольской правды».